Никита Асташин

Романы Владимира Богомолова: новое прочтение

Владимир Осипович считал, что литературное произведение, как только оно выпущено, уже живет по своим законам. И поэтому он очень редко давал интервью, считал неприличным для себя объяснять, что автор хотел сказать, что автор думает и какие у него планы на будущее.

Раиса Глушко. Российская газета, 25 апреля 2012 г.

Avant d'expliquer aux autres mon livre, j'attends que d'autres me l'expliquent. Vouloir l'expliquer d'abord c'est en restreindre aussitôt le sens; car si nous savons ce que nous voulions dire, nous ne savons pas si nous ne disions que cela.

André Gide. Paludes.

Традиционно первый роман Богомолова – «Момент истины» - считается классикой советской военной прозы и эталонной книгой о контрразведке СМЕРШ. На деле – что намного важнее - это был немыслимый для своего времени скачок не просто за рамки цензуры, которую Богомолов не обошел, а грубо проломил, что само по себе редкое достижение. Это был художественный прорыв общелитературного масштаба.

Его второй - и последний – роман, «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»,[1] тоже интерпретируется в основном как текст, раскрывающий новые стороны Великой Отечественной. Действительно, шокирующих подробностей там много, но было бы неверно не замечать за ними гораздо более значимых находок и решений.

В том числе и того, что все эти детали там присутствуют не для дешевой провокации читателя, а в качестве опорных конструкций сюжета, завораживающего своей глубиной и поливариантностью трактовки.

Пирамида страха

Начать переосмысление богомоловских текстов на современном уровне, видимо, стоит с «Момента истины» и с того, что там бросается в глаза практически сразу, даже при не очень внимательном чтении: трансцендентного страха, не пропускающего практически ни одного значимого персонажа. Страха в разных формах и по разным поводам, как называемого прямо, так и описанного только через проявления.

Однако «Момент истины»[2] - это не просто каталог разномастных страхов. В этой книге автором целостно и методично описана глобальная архитектоника страха.[3]

Поначалу нам показывается страх простых людей и фактически – целого народа в составе советского («Западники, известное дело», - констатирует начальник милиции в Лиде).

Таманцев ставит недвусмысленный диагноз: зимой Юлию Антонюк и ее дочь ждут только картошка, одиночество и страх.

Окулич, являющийся в романе едва ли не олицетворением жертв многоликого и всепроникающего страха, прячет от советской публики иконы, которые должны отвести гнев аковцев, и аусвайс, способный еще пригодиться в случае возвращения немцев. Он спасает комиссара, чтобы получить страховку от партизан, а семейные фотографии, похоже, прячет ото всех вообще, потому что неизвестно, кто способен навредить его родственникам сильнее всего.

[1] В данном исследовании используется наиболее полный текст романа – «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»: роман в документах. М.: Книжный клуб 36.6, 2013.

[2] Далее для простоты будет обозначаться буквами МИ.

[3] Польский литературовед Анджей Дравич верно подметил про тему страха в связи со Сталиным (В.О. Богомолов. Десять лет спустя. М.: Книжный клуб 36.6, 2013, с. 350-351) и неэффективность этого страха как метода решения проблемы «Немана», но это только часть темы страха в романе.

Но одновременно с этими кроликами перед удавом в плену страха оказываются и те, кто, казалось бы, должны не поддаваться ему, а сами его вселять, – обладатели карманного ужаса (красной книжечки «с пугающей надписью «Контрразведка...») из организации, в названии которой одновременно слышится и «смерть», и «смерч», и змеиное шипение. Причем бояться им приходится не только за себя или близких, но и за успех дела, которому они служат, так что еще неизвестно, кому в этой ситуации хуже.

Алехин боится за дочь: «Ревматизм лижет суставы и кусает сердце!» Богомолов так описывает воспалительное заболевание, что оно выглядит сущим демоном или гигеровским чужим.

Алехин боится за войска: он знает, что пока шпионы в тылу («Вы слышите?! Они работают у вас под носом!!!»), им известно все о следующих к фронту советских силах, и это чревато чудовищной катастрофой.

Блинова преследуют ночные кошмары из-за ненайденной лопатки.

Наконец, Таманцева ночами буквально терзает Шиловичский лес – эдакий местный Солярис страха, порождающий и насылающий зловещих фантомов. Лес, где умирают дети, и куда даже армия боится соваться. Лес, о котором говорят как об активном, действующем начале: «… Шиловичский массив занозой сидит на территории области и … у них нет сил и возможностей очистить, или, как он выразился, «обезвредить», его…».

По идее, все зло в этом богомоловском Лихолесье возникло по вине людей – это они же «заколдовали» его, замусорили гниющими трупами и минами и устраивают там засады друг на друга. Тем не менее, читателю в романе никуда не деться от иррационального восприятия этой чащи - хаотичной, примордиальной, отчасти сравнимой с конголезскими джунглями у Конрада и с океаном у Бунина – одного из любимых писателей Богомолова. [4]

Это иррациональное начало иногда оказывается сильнее самой холодной головы в лучших традициях Дзержинского. Стоит только смежить усталые веки, как оно будит поистине звериные страхи: «Со снами мне чертовски не везло. Мать, выматывая из меня душу, непременно плакала, а Лешку Басоса — он снился мне последние недели не раз — обязательно пытали. Его истязали у меня на глазах, я видел и не мог ничего поделать, даже пальцем пошевелить не мог, будто был парализован или вообще не существовал».

Это поистине фюсливский сон. Но он не просто давит человеку на грудную клетку. Он хватает за живое, бьет ниже пояса, виртуально кастрирует, обращая козыри спящего, присущие ему наяву, - силу, ловкость, навыки розыскника, - в уязвимости. Жертва такого сна оказывается бессильной помешать страданиям и убийству друга и даже отыскать его убийц: «Сколько ни напрягаешься, а зацепиться не за что: ни словесного портрета, ни примет и вообще ничего отчетливого, конкретного...».

Насланный лесом кошмар проделывает с Таманцевым то, что Евгений сам привык делать с врагами наяву и что он с блеском провернет в финале романа: «потрошит» («Тяжелые, кошмарные это сны — просыпаешься измученный, будто тебя выпотрошили»). Во сне происходит не только кастрация, но и ритуальное изнасилование, испомещение охотника в шкуру жертвы.

Сюжет со сном-вампиром будет доведен до апофеоза уже в случае с Федотовым в эпилоге романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…»[5], о чем пойдет отдельный разговор в разделе «Берлинский синдром»[6].

---

[4] А. Скорондаева. Опубликован посмертный роман Владимира Богомолова. URL: http://www.rg.ru/2012/04/25/roman.html

[5] Далее для простоты будет обозначаться буквами ЖМ.

[6] А прообраз леса появляется еще лет за десять до публикации МИ: в «Зосе» фигурирует «зловещий враждебный» лес возле деревушки Новы Двур, где останавливаются герои повести. Он не только полон врагов, но и словно сам заманивает людей: «… выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял».

Но по концентрации внушающих страх деталей и откровенных рассуждений о страхе то, что будет происходить во время совещания в Ставке ВГК, оставит все, связанное с Шиловичским лесом, далеко позади.

В Ставке ВГК царит фактически официальная культура страха: «Их тревога или даже страх представлялись ему закономерными, естественными и, более того, полезными для дела, поскольку он был убежден, что руководителя, как, впрочем, и любого начальника, подчиненные должны не только уважать, но и бояться: при этом старательнее, быстрее и тщательнее — так не без оснований он полагал — выполняются любые распоряжения».

В Ставке ВГК страх диктует только один шкурный принцип: «Сдохни ты сейчас, а я потом»: «И оба наркома ощутили мгновенное облегчение: дело касалось в первую очередь военной контрразведки, а не их ведомств».

В Ставке ВГК прививку страха разом получают три самых страшных человека для простых людей времен войны – не названные по именам Берия, Абакумов и Меркулов: «Естественно спросить: действует наша контрразведка или бездействует?! Что это — медлительность по недомыслию или преступная халатность?.. И в любом случае — безответственность!..»

Верховный источник страха в системе – Сталин – изображен с использованием приемов, заставляющих, в частности, вспомнить известного персонажа Гоголя: «При этом он поднял голову и пронзительным взглядом небольших, цепких, с желтыми белками глаз, уже тронутых первичной глаукомой, посмотрел в зрачки начальнику контрразведки».

Это, несомненно, глаза хищника.

«Он вернулся из дальнего конца кабинета и, остановясь перед начальником военной контрразведки и глядя ему в глаза жестким, тяжелым, пронзительным взглядом, тем самым взглядом, от которого покрывались испариной, цепенели и теряли дар речи даже видавшие виды, презиравшие смерть маршалы и генералы, холодно осведомился…»

Это, несомненно, взгляд змеи. И даже более того. Раз от него теряют дар речи те, кто презирал смерть, значит, он страшнее самой смерти.

«Посмотрите и запомните... — Сталин повел глазами в сторону больших настенных часов. — В вашем распоряжении сутки... Если в этот срок с ними не будет покончено, — он указал рукой на покрытый зеленым сукном угол длинного стола, где лежала справка по делу «Неман», — если в течение суток не будет пресечена утечка особо секретных сведений... все виновные — вместе с вами! — понесут заслуженное наказание!»

В этих словах за риторикой «большого террора» так и слышится знаменитое сказочное: «Ваша карета превратится в тыкву!»

Заметим при этом: Абакумов тоже изображен в мистическом или псевдомистическом ключе. «Дюжий, светловолосый, с открытым, чуть простоватым, очень русским лицом, он стоял прямо перед Сталиным и смело смотрел ему в глаза».

Здесь слова «простоватый» и «русский» напоминают об Иване-дураке и богатыре одновременно. Только в богомоловской сказке этот «богатырь» и еще двое других на самом деле не противостоят, а служат своему Кащею, и, когда они стоят рядом напротив него, на полу их тени сливаются в тень Змея Горыныча советской госбезопасности. И нет у горе-богатырей в романе имен.

Но одновременно Кащей подвержен всепоглощающему страху и сам. Все боятся его, а он боится за танковую технику россыпью, за успех стратегической операции. Страх подвергает Сталина насильственной смене ролевой модели (role reversal) похлеще таманцевской.

Богомолов показал читателю *боящегося* Сталина. Сталина, который и сам уже давно заложник и раб своей системы. Сталин у Богомолова - не привычный по другим произведениям Сталин-тиран или Сталин-икона. Это Сталин, данный нам через его фобии.

Еще одним сильным приемом в связи с данной темой является то, что страх в романе появляется едва ли не физически: «Он (Егоров – *Н.А.*) увидел страшное, с выпученными

глазами и набухшими венами лицо генерала-астматика, его раздувшуюся от напряжения багровую шею».

Это, казалось бы, ничего не дающий эпизод, но зачем-то он введен в сюжет. Сам генерал нормально относился к Егорову и компании, так что страх словно избирает его просто как случайный объект, чтобы вселиться. Неспроста его уродование усиливается, поскольку его *боятся* вывести из стодолы на свежий воздух по соображениям конспирации, да и вообще дрейфят что-то предпринять, но в итоге Егоров экзорцирует эту инкарнацию страха (в т.ч. чинопочитательского).

В свете всего вышеуказанного момент истины может пониматься еще и как краткосрочный момент упоения жизнью без страха и вне страха. По наступлении этого момента на поляне в Шиловичском лесу воображение Таманцева живо рисует, как сеть радиостанций распространяет сигнал об успехе операции через штаб фронта на Москву, очищая от страха всех («снимая чудовищное напряжение последних суток»). Сообщение «Бабушка приехала» становится ударной волной, сметающей страх на своем пути, и Таманцев, выпотрошенный снами о матери и Басосе, возможно, теперь освободится и от них.

Без ответа оставляется вопрос о том, надолго ли. В том и «прелесть» войны, что со страхом можно покачать маятник, отравить его фронтовым адреналином и стереть его эфирным цунами радиостанций (более того - читатель может заметить, что ужас предстоящей войсковой «карусели», подступившей вплотную к Шиловичскому лесу, перекрывает и нивелирует ужас самого леса еще до момента истины).

А как быть там, где эти средства не помогут? Войска, радиостанции и стрельба по-македонски бессильны против демона, кусающего маленькой девочке сердце, и дело совсем не в том, что от этого демона нет лекарства, что могущественный генерал Егоров не узнает, пусть и с запозданием, об этой беде и не поможет дочери Алехина.

Дело в том, что поводы для страха продолжают появляться и будут делать это и впредь, и это проистекает из самой сути жизни, из самой сути системы, в которую встроены все персонажи. Часть поводов можно дедуцировать из текста самого МИ. Допустим, Егоров поможет в этот раз. А что будет дальше, если система в тылу уже успела продемонстрировать свое равнодушие к семье офицера?[7] Вряд ли стоит смотреть в будущее с оптимизмом. История Васюкова, если считать его своего рода зеркалом, в которое смотрится Алехин (см. раздел «Кривые зеркала символизма»), дает основания бояться, что дочь капитана может остаться инвалидом.

Но еще более жуткие перспективы скрыты, что называется, за кадром. Это то, что Алехин наверняка знает в силу своего положения (хотя бы частично) уже в августе сорок четвертого, и знает, но еще не может сказать в семидесятые Богомолов. То, о чем нам поведает ЖМ.

Там в главе 18 («Солдат воюет, а жена и дети дома горюют…») в документах изображена явная параллель с бедой Алехина – судьбы военнослужащих, жены которых в тылу гибнут или садятся в лагеря, и в результате их дети либо тоже гибнут, либо пропадают в детприемниках. То есть сама суть и самый масштаб госмашины, не замечающей в своем титаническом, монструозном вращении многих частных драм и трагедий, слишком огромной, чтобы обращать внимание на отдельных людей, делают для семьи Алехина трагедию в том или ином виде почти неизбежной. Они обречены именно в силу того, что машина слишком велика.

Но не нужно даже читать ЖМ, чтобы это понять. Сначала машина смелет и не заметит элитную пшеницу Алехина, т.е. труд всей его жизни, наверное, один из всего двух смыслов его существования. Потом она не замечает страданий его дочери, которая является другим смыслом жизни капитана. Следовательно, очень скоро машина окончательно проглотит ее, и вопрос только в форме.

---

[7] И это не просто равнодушие: Алехин вблизи фронта борется с диверсантами, а в тылу фактически происходит *диверсия* против него самого.

В итоге богомоловский экзистенциальный ужас приобретает просто космический размах. Он, выражаясь словами одного из богомоловских же персонажей, «унасекомливает» человека не хуже, чем у Лавкрафта. Обычный человек - сущий микроб и на фоне войны, и на фоне этой жизни. Но микробом оказывается и страшный для обычного человека Сталин. И, раз все они суть лишь микробы даже на таком «приземленном» фоне, в таком привычном для человечества масштабе, что они тогда значат на фоне космоса?

Богомоловская пирамида страха не просто вмещает в себя советское общество середины сороковых. Она своим основанием попирает биосферу, а вершиной вонзается в безвоздушное пространство.

Холод антимира

От темы страха тянется отдельная, но тесно связанная с ним тема, - тема антимира, всеобщей подложности, неверности, фальшивости в духе «Невского проспекта» уже упоминавшегося Гоголя. Сюжет, в принципе, довольно логичный для «шпионского» романа, но далеко не во всяком шпионском романе так хорошо обозначенный.

Реальность МИ - извращенная, масочная, зазеркальная. *Ты* должен доказать, что ты - это ты, что ты - это действительно то, что у тебя написано в документах, и что ты - не враг. Бутафорят все стороны, и неспроста Мищенко сомневается в том, что Алехин действительно «дежурный помощник».

Это совершенно параноидальная среда, где ты не можешь просто быть собой. Мало того, что тебя оторвали от любимого дела и семьи, заставив быть кем-то еще (это, кстати, относится не только к тому же Алехину, но и к Мищенко), но даже твоя нынешняя сущность находится под стабильным и неусыпным подозрением: а вдруг ты эта, того, шпиён? И только СМЕРШ является единственным критерием истины (читай: аудитором реальности). Только его заключение позволяет тебе считаться тем, на что ты претендуешь (еще некоторое время, пока тебя снова в чем-то не заподозрят). Он как бы санкционирует твое существование. Он фактически есть источник конвенциональной реальности. [8]

Впрочем, как и в случае со страхом, охотникам на шпионов их вроде бы привилегированное положение на деле мало что дает, ведь они вынуждены маскироваться в собственном тылу и быть кем угодно, только не собой. Они даже партбилетов с собой не носят, что символически тождественно снятию креста перед гаданием, т.е. сознательному отказу от оберега для вящей надежности контакта с нечистой силой.[9] Да и привилегированность выходит относительная, если вспомнить об отношении к розыскникам: «Вот так всегда. Армия считает нас органами госбезопасности, а органы считают нас армией». Здесь уже не просто маргинальность, здесь – какая-то сверхъестественная пограничность.

Читатель погружается в мир сплошных предателей, двойных агентов, оборотней, перекрасившихся, просто струсивших и шпиономанов. На замысел опять же указывают и некоторые детали, которые ничего не значат сами по себе и, на первый взгляд, легко могли бы быть сняты.

Например, зачем было походя упоминать встреченный в Шиловичском лесу (который иногда даже кажется красивым, т.е., возможно, тоже бутафорит, оборотничает) женский труп в эсэсовских брюках и «офицерском мундирчике РОА без погон»? РОА не играет в дальнейшем развитии сюжета вообще никакой роли, однако подобный реквизит сразу же настраивает на тему предательства, мимикрии (женщина в *мужской* форме с отсутствующими знаками различия).

Верить в этой реальности нельзя категорически никому, даже рассказчику. Заметим, про всю отвратительность Мищенко (включая его людоедство) мы узнаем только в

---

[8] Подобной интерпретации вторит недобрая шутка из ЖМ: «Скоро в брак будут вступать по разрешению контрразведки».

[9] Славянская мифология. М.: Эллис Лак, 1995, с. 127.

последний момент, причем из ориентировки, составленной его противниками, и никаких альтернативных нарративов, эту отвратительность подтверждающих (например, его воспоминаний о людоедстве), автор нам не предоставляет.

На наш взгляд, апофеоз оборотничества, двойственности в романе представляет собой даже не группа Мищенко, а встречающаяся в воспоминаниях Алехина шпионка-фольксдойче «Ивашева», чем-то неуловимо напоминающая ведьму, которая своей слежкой наводит смертельную порчу на замеченные ей советские войска.

Нельзя не отметить, что мнимая нищенка Ивашева отсылает читателя к другому богомоловскому мнимому нищему – Ивану: «Бездомный побирушка – быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу». Да, Иван действует против объективного нацистского зла, но различие продолжает оставаться только в знаке. Антимир вынуждает уродоваться, начисто подчиняет своей логике.

Алехину тоже противно все время прикидываться, но он доводит этот момент до совершенства, сам вставая в параллель с «Ивашевой». Он бьет пославших «Ивашеву» ее же оружием, - как «Ивашева» мимикрирует в сумасшедшую, так и Алехин мимикрирует в придурковатого солдафона и, в отличие от старой ведьмы, добивается своего. Его бутафорство настолько совершенно, что по эффективности обмана он один приравнивается к трем вражеским агентам, да еще и компенсирует неуклюжую игру Аникушина.

Антимиром отдает даже название «Неман», которое, отвечая на вопрос Сталина, неназванный Абакумов характеризует как данное в произвольном порядке, без особой привязки к соответствующей реке. Таким образом, для начала есть имя реки, оторванное от самой реки, что само по себе говорит об отчуждении и обмане. Но река – это еще и архетип, означающий границы разных миров. Соответственно, независимо от намерений тех, кто называл операцию, Мищенко и его спутники – пришлецы из-за реки, из страны зла.

Здесь снова приходит на ум повесть «Иван», сюжет которой вращается вокруг перемещения через реку. Примечателен наиболее активный участник таких перемещений, поскольку у него из подлинного - только имя «Иван», тогда как фамилия и биография его, предназначенные для большинства окружающих, являются вымышленными. [10]

Иван – это генерический русский, причем и в представлении немцев тоже. И не только обычный русский, но и русский богатырь, а в связи с богатырями упоминаются не простые реки, а, мистические, как, например, река Смородина в случае с Иваном Быковичем. Смородина – огненный водораздел человеческого и потустороннего миров,[11] так что, возможно, богомоловский Иван тоже переплывает не столько Днепр, сколько Смородину или Стикс, спрятавшиеся под названием «Днепр» в этой повести, под названием «Неман» в МИ и под названием «Одер» в ЖМ (см. ниже). В таком случае, по ту сторону подобной реки – точно антимир и пространство абсолютной смерти, которая в итоге и настигает Ивана Буслова[12].

Все рассмотренные особенности антимира словно лишний раз показывают: из-за подобных нюансов работа в контрразведке оказывается по сложности сопоставимой с передовой, а то и превосходит ее, и Аникушин гибнет во многом потому, что недооценивает всю опасность ситуации.

---

[10] Официально проходит как Бондарев, в зависимости от ситуации выдает себя за побирушку и б-г знает кого еще. На самом деле – разведчик Буслов.

[11] Дмитриева Е. Течет река огненная...//Наука и жизнь. 2001. № 7. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/6408/

[12] Впрочем, смерть, о которой узнает в финале Гальцев, тоже, возможно, относительная, и вот почему. Иван прошел лагерь смерти, т.е. является своего рода символическим мертвецом, и никакая сила надолго не удержит его на *этом* берегу реки Смородины, которому он не принадлежит. На деле умер он давно, а остальное, включая смерть, упомянутую в немецких документах, - своего рода инерция. Неспроста же немцы казнят Буслова, уже обреченного погибнуть от гангрены, т.е. ничего не решают своими действиями. У них нет власти *действительно убить* того, кто уже мертв.

«Неман» – он страшнее босховско-брейгелевских степей под Сталинградом с подрывающими себя слепыми солдатами из боевого опыта Игоря. Сшибка с «Неманом» – это поединок с чем-то потусторонним – даже не просто с оборотнями, а с зазеркальной нечистью (они превратились в тебе подобных, и искусство состоит в том, чтобы не прозевать, когда их случайно выдаст ~~копыто~~ южнорусский говор[13]). Здесь уже мало просто опытных фронтовиков. Здесь нужны профессиональные охотники на волков-оборотней.

Как минимум, нужно строго следовать инструкциям, данным охотниками. Увы: «Поучений капитан не любил, как не любил и самого слова «бдительность». К тому же, как и большинство людей, он был совершенно убежден, что встреться ему в жизни шпион или диверсант — он тотчас распознал бы его».

Нельзя считать Игоря совсем негодным к борьбе с антимиром, и подтверждением тому служит как раз сцена битвы за колодец в степи. Но, распознав ложь немцев тогда (там тоже был как бы обманный зов из антимира), Аникушин не смог ее просчитать в Шиловичском лесу. У него нет опыта уродующего встраивания себя в антимир, нет соответствующей привычки и навыка.

Но если бы все ограничивалось только оборотничеством, т.е. активным лживым началом. На практике же к нему прибавляется проблема перцепции - личного восприятия, субъективной точки зрения, дополнительно усложняющая картину. Игорь словно видит уже знакомых читателю персонажей из СМЕРШ в кривом зеркале; Таманцев воспринимает насквозь пропитанного порохом фронтовика Аникушина исключительно как тылового пижона; Блинов, сначала разделяющий мнение Таманцева, потом меняет его исключительно потому, что узнает о родстве Игоря с глубоко симпатичным ему человеком.

На примере этой ситуации нам еще раз показывается, как все относительно, как велика роль идеалистических факторов. При таком подходе и название романа начинает восприниматься глубже: всего лишь один момент истины в бесконечном объеме времени, отведенном на ложь и заблуждения.

В ЖМ антимиром фактически является сразу вся Германия. Чтобы попасть туда, сама география велит форсировать Одер во время вагнеровской непогоды. Те, кому повезет не погибнуть при броске через очередную реку Смородину, окажутся в краю, где (если исходить из подборки документов в главе 3 («Документы апреля 1945 г. (действующая армия)») любая еда и питье могут быть отравлены, а женщины - добровольно заражены для совершения секс-диверсий. По логике фольклора, в этом зазеркалье нельзя ничего есть и желательно, как рыцарю Роланду, мочить после разговора всех собеседников, ибо они суть нечисть[14].

И советские военнослужащие действительно демонстрируют часть этой модели, давая неизвестные спиртоподобные жидкости на предварительную пробу самим немцам, но последовательными в «роландизме», быть, конечно, не могут, потому что приказами предписано местных не обижать.

Такой подход имеет все шансы выйти боком: немцы-демоны могут прикинуться антифашистами и завести колонну в западню, и от подобных перспектив пробирает ледяной ужас. Даже дети (в данном случае - 9 и 12 лет) могут оказаться террористами, и их расстреляют, как взрослых. Батальон «Адольф Гитлер» состоит из «молокососов головорезов 14-15 лет».

Когда, таким образом, каждый шаг означает движение через минное поле, свои тоже запросто могут несдобровать, как, например, упомянутые в романе выходившие из вражеского тыла орденоносные советские разведчики, которых соотечественники, наплевав

---

[13] Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX-начала XX в. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957, с. 106.

[14] Joseph Jacobs. Childe Rowland//Folk-Lore, Volume 2, 1891, pp. 184, 192.

на пароли, пустили в расход, приняв за власовцев. В дальнейшем из-за пустых подозрений будет поломана жизнь агента ГРУ Эльзы Треншель (см. раздел «Mea maxima culpa»). [15]

Главному герою ЖМ Василию Федотову на протяжении романа приходится как сталкиваться с эдакой «рутиной» антимира, преследующей почти всех советских военнослужащих в Германии, так и попробовать себя в качестве «аудитора реальности» в пересыльно-фильтрационном лагере (ПФЛ).

Его опыт простого офицера на оккупированной вражеской территории включает в себя и манию преследования («Нас так дрочили бдительностью, что за каждым углом мерещились враги…»), и столкновение с настоящим оборотнем – угодливым эльзасским (т.е. не то немецким, не то французским, - короче, химерическим) официантом, который в итоге оказывается военным преступником. При этом с настоящим организованным нацистским подпольем он так и не столкнется, хотя опергруппа НКВД (еще одна разновидность создателей истины) «найдет» целую группу «вервольфов».

В ПФЛ же, где Федотов осваивает искусство отделения «агнцев от козлищ», его мысли в итоге начинают закономерно напоминать алехинские.

Федотов: «В общем, трудная это работа – сомневаться в человеке и подозревать во всем, разрушительно для психики».

Алехин: «... совесть требует — оставить человека в покое. А ты вынужден тут же его потрошить, добывать необходимую тебе информацию. Проклятое занятие — хуже не придумаешь».

Кривые зеркала символизма

В романах Богомолова заметно присутствие не только оборотничества, но и двойничества.

Завораживающий апофеоз последнего – финальная сшибка трое на трое, причем агенты противника являются едва ли не зеркальным (пусть это и отражение в кривом зеркале) отражением группы Алехина. Так, «амбал», представляющий собой главный силовой компонент «Немана», является эдакой злой пародией на Таманцева (более того - он неспроста сравнивается с персонажем из прошлого Евгения - балаклавским портовым амбалом Башкой, т.е. человеком, связанным, как и Таманцев, со стихией моря[16]), а неофит Сергей - на неофита Блинова.

Осевой момент антитезы - хлебороб Алехин против людоеда Мищенко. Потомственный созидатель против профессионального, сознательного разрушителя. ЗемлеДЕЛЕЦ, сын земледельца, против сына крупного землеВЛАДЕЛЬЦА, т.е. один – культиватор земли[17], другой – ее эксплуататор.

Их поединок проходит исключительно в нематериальной сфере: интеллекта, психологии, оборотничества. Здесь нельзя не отметить, что, помимо «Ивашевой», Алехин с Мищенко являются единственными в романе персонажами, в связи с которыми упоминается слово «маска».[18] Как не может не броситься в глаза и то обстоятельство, что в момент перехода сшибки в «горячую» фазу оба они выводятся из строя ударом/выстрелом именно *в голову*. Голова перестает играть решающую роль, потому что маски сброшены, и начинается настоящий танец смерти, где интеллектуалов сменяют воины.

---

[15] А в самом начале своей писательской карьеры Богомолов пропустил через нечто похожее и Ивана, которого ранили по возвращении из очередной вылазки в антимир.

[16] Фамилия у Евгения однозначно говорящая, т.е. он не просто родился и вырос у моря и много лет до призыва провел на флоте. Он словно тезка своего родного морского края.

[17] Связь Алехина с землей и хлебом наталкивает на мысли о жреце Деметры и Антее. Павел Васильевич самозабвенно служил земле и плодородию, и в его поиске момента истины они отплачивают ему сторицей, обращая его внимание на супесь.

[18] На занятия в Берлинскую школу немецкой разведки Мищенко приходил только в маске. Таманцев отмечает, что при проверке документов Алехин «должен с первой и до последней секунды быть в маске».

Впрочем, наверное, можно говорить, что, как раненый Алехин находит в себе силы помочь Таманцеву беспокоящим огнем, так и тень убитого Мищенко продолжает присутствовать на поляне. Из документов выстраиваются параллели уже между лидером «Немана» и Таманцевым: потеряв отца по вине советских пограничников, Мищенко в начале Великой Отечественной совершает целую серию терактов, действуя именно в форме погранвойск, чтобы три года спустя угодить в засаду с участием бывшего пограничника.

Богомолов походя бросает показательную деталь: Мищенко обучал курсантов абвера стрельбе по-македонски, так что только кажущаяся случайность предотвращает прямую сшибку двух мастеров стрельбы с обеих рук, бывшего пограничника и кровного врага пограничников, ритуально осквернившего их форму. Разумеется, в этом свете полнее видится и смысловая нагрузка границы – разделителя двух миров, олицетворения всеобщей транзиторности и относительности.

Граница в романе проходит даже через злосчастную поляну, как зеркало, поставленное между двух альтернатив, одна из которых должна материализоваться в результате происходящих событий. Момент истины является одновременно моментом перехода, ибо от его наступления или отсутствия зависит, а не качнется ли маятник обратно, и не повторится ли снова сорок первый, чего так боится Сталин, вспоминающий этот год в Ставке.

Конечно, на сей раз речь идет только об успехе операции, которая изолирует прибалтийскую группировку противника, вряд ли способную в одиночку изменить равновесие на всем советско-германском фронте. Тем не менее, провал операции означал бы серьезнейший успех Гитлера, конец серии советских успехов и т.п. последствия, важные для вражеской пропаганды. Повторение сорок первого даже в миниатюре невероятно опасно. И неспроста на роковой поляне оказывается именно Мищенко, который ранее уже пытался качнуть стратегический маятник попыткой прикончить Сталина, т.е. фактически уподобить по значению нескольких диверсантов нескольким фронтам.

А вот в случае победы группы Алехина свой сорок первый в миниатюре получит противник. Это тоже его не сокрушит, но будет означать продолжение серии крупных советских успехов и т.п. последствия.

На эффект маятника, т.е. колебания реальности между вариантами, различающимися только вектором или знаком, указывает даже судьба места действия МИ: «За пять последних лет здесь четырежды круто менялась жизнь: сначала санационная Польша, затем — присоединение к Советской Белоруссии, потом война — она пришла сюда на вторые сутки — и кровавая немецкая оккупация и, наконец, снова — уже второй месяц — советская власть».

Но этим система зеркал не ограничивается, поскольку в романе есть еще и отражение положительных персонажей друг в друге. Самая насыщенная параллель – Блинов и Аникушин, которая много лет спустя будет продлена Богомоловым еще и до Федотова в ЖМ.

Речь в данном случае идет о трех практически ровесниках, выросших либо в хороших семьях, либо, как в случае с Федотовым, в неполноценной семье, но без недостатка полагающегося внимания. Это молодые толковые офицеры с интеллектом выше среднего, [19] которым в силу тех или иных неблагоприятных обстоятельств (ранение у Блинова и Аникушина, ЧП у Федотова) приходится оставить (на время или перманентно) успешную строевую службу и в какой-то момент приобщиться к делу контрразведки.

Тайная война затрагивает их в разной степени, но все они, в силу своих моральных и фронтовых принципов, предполагающих примат прямоты, честности (рыцарства, в сущности), оценивают подобную перспективу как падение. Падение еще и потому, что они, добившись многого на передовой, теперь вынуждены быть на вторых ролях в контрольных

[19] Есть и менее заметные, но тоже важные черты сходства: Аникушин хорошо поет, Федотов хорошо танцует. И Федотов, и Блинов страдают от заикания после контузии.

структурах (СМЕРШ, комендатура и ПФЛ соответственно), к службе в которых никак не подготовлены.

На самом деле подобная ситуация является не падением, а своего рода испытанием на причастность к сверхчеловечеству. Антимир с его вызовами дает человеку, на что-то претендующему в этой жизни (а вся эта троица по-хорошему амбициозна), возможность прыгнуть выше головы - шанс, которого может не предоставить никакой участок передовой. Итогом успешного прохождения испытания необязательно будет карьерный рост, но вот обоснованный рост самооценки, уверенности в себе, а значит, и внутренней силы, - обязательно.

Задача невероятно трудна: оставить все, чем ты был раньше, и в короткий срок инициироваться в совершенно иную парадигму существования. Это тем более сложно, если учесть, что ранее каждому из этих троих, как и многим другим, уже пришлось болезненно перековаться из школьника или студента в солдата, т.е. теперь на горизонте замаячила вторая резкая трансформация, которая другим их сверстникам не грозит.

Блинову вроде как дано больше всего времени, но никто не гарантирует, что эта неспешная подготовка под началом Алехина, Таманцева и Полякова не будет в любой момент прервана выстрелом из-за дерева в Шиловичском лесу или еще где.

Аникушину, казалось бы, достается самое сложное: выход на линию огня, да еще и после самого короткого инструктажа. Но ведь его роль - вспомогательная, тогда как более опытные оперативники все держат под контролем. И здесь его шансы выжить выше, чем, например, при вылазке террористов в городе, где опять же выстрелят из-за угла с целью убить именно его, и никакой контрразведчик из кустиков не подстрахует.

Федотову, в отличие от Аникушина и Таманцева, в лагере не угрожает вражеская пуля, но моральные последствия его действий могут оказаться в чем-то хуже пули, причем о таком, в отличие от угроз, поджидающих сотрудников СМЕРШ и комендатуры, никто его не предупредит.

В результате успешно экзамен сдаст только Блинов. Он валит (пусть и не в одиночку и без такого намерения) крупного зверя, что в традиционалистском обществе есть пройденная инициация (или важная ее часть). На инициацию четко указывает название главы 95 – «Гвардии лейтенант Блинов, пока еще Малыш», где ключевое слово – «пока».

Внешне ликвидация Блиновым не назначенного ему в мишени Мищенко напоминает случайность,[20], и именно так ее интерпретирует Таманцев. Но, с другой стороны, этот выстрел, возможно, спасает Таманцева, ведь он (в том числе с учетом внезапно начавшегося «некачественного» поведения Аникушина) мог и не потянуть двоих противников, как изначально планировал. Мищенко мог на равных разыграть с Таманцевым пьесу для четырех стволов, так что, даже если Блинов и не хотел того, что в итоге случилось, он даже в своей «пассивности» может претендовать на звание десницы судьбы, что неплохо даже не для начала.

Возможно, выстрел Блинова резко сдвинул расклад в пользу СМЕРШ (т.е. опять же качнул символический маятник в нужном направлении). Может, даже спас операцию, ведь гибель Таманцева могла иметь самые печальные последствия для тех, кто стремился взять представителя «Немана» живьем.

С одной стороны, это действительно случайность. С другой – это та разновидность случайности, которая решает все или почти все. И тогда Блинов – уже не просто младший из трех богатырей, а сам Иван-дурак, великий трикстер, ломающий врагам любые планы, попирающий логику и законы природы (и опять же заметим, что выстрелом в лоб он уделал тоже *Ивана* – Мищенко, который здесь становится своего рода анти-Иваном).

---

[20] Обратим внимание на эффектную перекличку реплик в этой связи.
«Это я!.. Я его убил!.. Что я наделал!..» - с ужасом думает Блинов после выстрела в Мищенко.
«Ты!!! Ты его убил»! – эхом антимира вторит ему Таманцев, навешивая на его злого двойника Сергея убийство его положительного двойника Игоря.

Аникушин рядом с Блиновым жестоко проваливает свое испытание. Справься он – и, возможно, было бы показано, что Игорь - уникум, одинаково блестящий в пении, войне и контрразведке, некто наиболее подходящий на звание сверхчеловека. Увы, своими ошибками он отводит себе в этой партии в вист исключительно роль болвана, в том числе и посмертную.

Провал же Федотова будет в том, что он неправильно «прокачает» Эльзу Треншель, став причастным к ее катастрофе, и чудовищное чувство вины будет терзать его всю оставшуюся жизнь (см. заключительный раздел данного исследования). И неизвестно еще, кому хуже, - Аникушину, который отмучился быстро, или главному герою ЖМ, обреченному на долгие годы в тени своего персонального Ворона по имени «Никогда».

Берлинский синдром

ЖМ - это в значительной степени книга о болезненном переходе (или даже переломе) от последних стадий войны к мирной (или около того) жизни. И о том, возможен ли такой переход в принципе. В отличие от того же афганского синдрома, богомоловского героя берлинский синдром - возможно, самый коварный – догнал уже в старости (в эпилоге романа), когда тот был слаб и ничего не мог ему противопоставить.

Цитата из Есенина в названии автоматически подсказывает нужную интерпретацию, ибо берлинский синдром, словно Черный Человек, садится к Федотову на край постели и не уходит, показывая ему, как тот ничтожен, что он в жизни уже чужой. Берлинский синдром лижет суставы и кусает сердце. Это апофеоз богомоловского обобщения темы страха, король всех страхов, появившихся на страницах МИ.

Индивидуальная расплата за блестящую победу, за «цветущий и поющий яркий май» оказалась едва ли не более чудовищной, чем за непонятный результат Афганистана.

Афганский синдром делает так, что у тебя сразу в жизни оказывается пусто. А берлинский синдром приходит много позже и перечеркивает, обессмысливает, обесценивает то, что ты много лет считал свершением, - где-то шестьдесят лет твоей мирной послевоенной жизни. Афганский синдром - это как ветхозаветный сатана, отнимающий у Иова все, кроме души, тогда как берлинский синдром сразу покушается на душу.

Богомолов указывает в эпилоге, что ситуация усугубляется крахом страны, который становится едва ли не решающим толчком к его – и Федотова – фактической внутренней эмиграции (говоря о новых хозяевах страны, он делает перекличку с эпиграфом главы – «мы для них чужие навсегда»). Об этом крахе в эпилоге пишется больше всего. Герой видит обнищание государства, унижение ветеранов, кажущуюся бессмысленность победы и, как и при передислокации на Чукотку и других своих бедствиях, задается горестным вопросом – «За что?!»

Тем не менее, все, похоже, было бы так же фигово и без этого краха.

Ибо слишком хорошо было в мае сорок пятого, и итоговый монолог героя - подтверждение тому, что основная проблема - внутри него, а не снаружи. Ничто не могло бы сравниться с теми днями, и выходит, что они отбрасывают довлеющую, тяжелейшую тень на последующую жизнь людей, им сопричастных, ибо идеал и сплин всегда идут рука об руку. Победа этих людей стала их проклятьем, их трагедией. Берлинский синдром был заложен под них в мае сорок пятого, как бомба с часовым механизмом.

Кроме того, еще одним толчком к пессимизму для Федотова становится старческая слабость тела. А еще ему надоела суета бытия, причем ненависть к бытовухе у него появилась еще в армии. Достаточно вспомнить, как он, пусть и будучи еще молодым максималистом, посчитал покупку домика «низкой», словно вторя Блинову («Мещанство, тыловое мещанство...» — огорченно подумал Андрей»), боялся демобилизации и детей. Он, словно Фауст (эпиграф из Гете предпослан не зря), хотел бы остановить прекрасное мгновенье. Тут-то и попал в ловушку. Желание обладать чем-то, как будет видно из следующего раздела, означает и страдание, если обладать не получится.

Наконец, по словам самого Федотова, через «полтора или два десятилетия» после окончания Великой Отечественной (т.е. задолго до краха *его* страны) он осознал, что майор Елагин был «недалек от истины», назвав его «пустышкой».

Таким образом, есть все основания считать, что берлинский синдром при любом раскладе настиг бы Федотова. [21]

ЖМ - бесконечно горькое произведение: название, эпиграф ко всему роману и эпиграфы к пяти частям из шести говорят либо о невозвратности, либо об иллюзорности молодости. Все это тем более горько, если учесть, что альтернатива ускользанию молодости (а, значит, и победного мая) только одна – выраженная в популярной у героев романа фразе: «Гусар, который не убит до тридцати лет, не гусар, а дрянь».

Не исключено, что гонка героев на мотоциклах по трассам Берлина в кошмаре Федотова в эпилоге отчасти является неким намеком и на Берзарина (как минимум, этот образ способен вызвать такую ассоциацию). Он тоже был еще сравнительно молод, блестящ, любил быструю езду на мотоциклах и из-за нее навеки остался в том триумфальном мае сорок пятого. Берзарин, конечно, погиб после тридцати, но ведь он был не простым гусаром, а генералом и комендантом Берлина, и ушел в вечность красиво - на полной скорости, став своего рода символом рассматриваемой альтернативы.

Тем не менее, право самому выбирать свою смерть судьбой предоставляется не слишком многим. Кто-то неизбежно должен остаться жить, а, значит, у берлинского синдрома не будет недостатка в жертвах.

Хемингуэй писал, что человека можно уничтожить, но нельзя победить[22]. Богомолов показал, что это не так.

«Я хочу говорить о печали»

ЖМ - роман о Великой Отечественной войне, написанный ее ветераном и имеющий эпиграфом к первой части слова из Сутты-Нипаты. Данный факт сам по себе смотрится как минимум экзотично и заслуживает отдельного рассмотрения.

Подобный эпиграф, на первый взгляд, странен для Богомолова, в произведениях которого религии отводится строго ограниченное пространство. Объяснение этому простое. Сутта-Нипата была любимым текстом Бунина - одного из любимых авторов Богомолова. Эпиграф даже прямо перезаимствован из рассказа Бунина «Братья», ведь в оригинальном тексте трактата избивали друг друга «люди». «Людей» на «братьев» заменил Бунин. [23]

Таким образом, Богомолов фактически использовал цитату из Бунина. Даже если он не знал о бунинской подмене понятий, сути это не меняет: либо он взял цитату из рассказа, не удосужившись посмотреть оригинал, либо посмотрел оригинал, все понял и оставил бунинский вариант.

Нам сложно говорить об отношении Богомолова к буддизму ввиду ограниченности информации о писателе в целом. Логичнее предположить, что прямой интерес отсутствовал, хотя, благодаря увлечению творчеством Бунина, не знать всего это дискурса он не мог. Так, упомянутый рассказ «Братья» является первым бунинским произведением с буддистскими обертонами (т.е. началом многолетнего романа Бунина с буддизмом) и одновременно – одним из самых насыщенных ими в творчестве Нобелевского лауреата[24], поэтому даже из одного этого текста Богомолов мог составить целостное представление о буддизме и восприятии его Буниным.

---

[21] Если присмотреться, то выходит, что Федотова в конце жизни настигает аккурат еще один момент истины, и весьма безысходный. Выражаясь словами Таманцева, пришло время «подбить бабки».

[22] Saeed Momtazi. Destroyed but not defeated: Hemingway's The Old Man and the Sea: A psychotherapeutic story. URL: http://www.clas.ufl.edu/ipsa/2003/hemingway%20T.O.and%20T.S.html

[23] Чебоненко О.С. Буддийский канонический трактат «Сутта-Нипата» в творческом наследии Л.Н. Толстого и И. А. Бунина//Вестник Бурятского государственного университета, 10/2013. с. 115.

[24] Thomas Gaiton Marullo. If You See the Buddha: Studies in the Fiction of Ivan Bunin. Evanston: Northwestern University Press, 1998, pp. 18, 22.

Разумеется, даже с учетом этого на сегодняшний день (без рабочих материалов Богомолова, что интересно, написанных от руки почерком, неуловимо напоминающим деванагари[25]) можно констатировать только то, что получилось не по непосредственному замыслу автора, а вследствие использования им ряда компонентов, которые вместе дают основания и для такой интерпретации. Но, так или иначе, эти основания достаточны.

Так, помимо указанного эпиграфа, в романе есть еще немало деталей, которые могут быть восприняты как указания на такие принципиальные концепты буддизма, как иллюзорность бытия и пагубность желания, неудовлетворенность которого ведет к страданию.

Первым указанием можно считать уже само название романа – цитату из Есенина, где автором выражено сомнение относительно реальности прожитой жизни. Если обратиться к полному тексту данного стихотворения («Не жалею, не зову, не плачу»), то можно заметить еще одно утверждение о преходящем характере сущего, - «все пройдет, как с белых яблонь дым». Цитате из Есенина вторит и эпиграф из Гёте – «*виденья*, мне в юности мелькнувшие давно».

На идею иллюзорности жизни Федотова словно работает и большое количество случаев предсмертного бреда за 19 лет его земного бытия. Он рискует умереть в раннем детстве, затем его держат в покойницкой в сорок третьем, затем, приняв за погибшего, забывают на поле боя в сорок четвертом и роют могилу в сорок шестом, когда он из-за болезни находится в полубессознательном состоянии. [26]

Роман завершается во многом кошмарным сном главного героя и пробуждением от него, но, как и со всяким текстом про сон и пробуждение, всегда останется хоть сколько-нибудь сомнения относительно того, где сон кончился и кончился ли он вообще. [27]

Наконец, создатель истины из контрразведки подполковник Полозов (подробнее см. заключительный раздел) – это тоже майя. Это обманщик, творящий иллюзию.

В свою очередь, как уже демонстрировалось выше, май сорок пятого, хотя там вроде бы победили зло, оказывается едва ли не главным искушением плоти и разума в романе, ведь невозможность вернуть свою прекрасную военную молодость в итоге терзает героя и ведет к страданию, берлинскому синдрому. Да, враг проиграл войну, но, развязав ее и проиграв, он все равно заразил героев майей. Он сначала принес им беду (войну), затем они выиграли счастье (победу), но это счастье, столь глубоко проникшее в них (и подчинившее их), удаляется с каждым годом, ибо оно есть вещное и мирское. Ускользание счастья – снова беда для них.

Заметим: буддийский эпиграф предпослан именно первой части, а не всей книге. Не потому ли это, что воюющий Федотов ставится в параллель с англичанином из бунинского рассказа, который весело избивал «братьев» в войнах, не осознавая того, что он творил, и к финалу, как и англичанин, попадает из-за этого под удар вселенского страха? (Только страх у двух персонажей несколько разный, но это-то как раз понятно).

И дело здесь не в гуманизме Богомолова, потому что немцы у него нигде «братьями» не предстают. Дело в его же словах из замысла ЖМ: «… в любой войне, даже такой, как справедливая Отечественная, впоследствии не окажется абсолютных победителей и побежденных: и те и другие еще десятилетия будут подсчитывать уже не столько боевые

---

[25] См., например, факсимиле на с. 289 в: Игорь Дедков. Дневник 1953-1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005.

[26] Здесь нелишне отметить, что Федотов, в отличие от большинства ровесников, получил на той войне возможность увидеть не просто многократную смерть в бою, а трупы на полях отгремевших сражений. Как следствие, он, служа в похоронной команде, мог видеть прах, тлен, и в куда как большей степени прочувствовать бренность, транзиторность сущего.

[27] Идея иллюзорности бытия Богомолову однозначно интересна. Стоит вспомнить повесть «Зося», перекличку которой с ЖМ, помимо прочего, обеспечивает есенинская тематика. Там то и дело возникают намеки на сон, нереальность происходящего и т.п., хотя, в отличие от того же антимира МИ, это - светлая иллюзия.

потери и разрушения, сколько моральные и нравственные».[28] И точно: в конце жизни Федотов стократ расплачивается за триумф мая сорок пятого. С точки зрения буддизма это можно объяснить и тем, что убийства, которые есть война, портят карму. Даже если они во благо.

Майской эйфории суждено было предопределить удаленные во времени тягостные последствия для целого поколения, но ею материальные поводы для страданий, искушения Мары в этом романе не ограничиваются.

Речь Федотова определенно приобретает какой-то религиозный оттенок, когда он констатирует, что, несмотря на долгие поиски красивых, достойных отношений с противоположным полом, в итоге стал рабом заурядного секса с крайне сомнительной партнершей Полиной Кузовлевой: «Моя плоть жила отдельно от моего сознания». Таким образом, он пополняет легионы советских солдат и офицеров, чья бесконечная и пагубная[29] похоть столь методично реконструируется Богомоловым в документах.

Причем нижней точки Федотов достигает даже не в период непосредственных отношений с Кузовлевой, а уже на Чукотке, когда он врет командиру, чтобы выписать на полуостров хотя бы ее и натурально снять с хера стружку, скомпенсировав столько месяцев депривации. Это означает, что он не просто нашел свой член на помойке. Это означает, что он предался Маре окончательно, и это плохо не только и даже не столько с точки зрения буддизма и тех офицерских политесов, которые ему прививал старший сослуживец Арнаутов.

Это плохо преимущественно потому, что блестящий офицер, которым он мечтает стать («офицер в законе», «офицер во славу русского оружия»), не должен себе такого позволять. Утрата контроля над собой в одном может стать первым шагом к утрате контроля и в чем-то еще, а то и к полной «потере управления», оскотиниванию и пр.

О том, что это действительно важно, говорит, например, внимание к теме сдержанности и самоконтроля в предшественнике ЖМ. Вот какими оборотами там характеризуется Алехин:

«У Алехина, к самогону весьма равнодушного…».

«… он увидел пропил на коре и не удержался — обнял меня. Такое за ним не водилось, и я это оценил».

«Да, лижет суставы и кусает сердце... Все это ужасно, но ты сейчас ничего не можешь поделать. И не надо об этом думать! — уговаривал он себя. — Забудь обо всем! Тебе нужны силы, и ты должен уснуть!..»

И Мищенко:

«Не курит, алкоголь употребляет в случаях необходимости; физиологические контакты только с нужными для выполнения задания женщинами».

Возможно, если бы Федотов тоже научился умерять свои страсти (что сексуальные порывы, что упоение победой), берлинский синдром не смог бы с ним справиться, не найдя к нему ключа.[30]

Начисто лишенный офицерского лоска подполковник Поляков из МИ, которого, тем не менее, считают заместителем бога по розыску и никогда не критикуют за отсутствие

---

[28] Р. Глушко. От составителя//«Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»: роман в документах. М.: Книжный клуб 36.6, 2013, с. 6-7.

[29] В прямом смысле – угрозы варьируются от венерических заболеваний до трибунала за изнасилование и даже суицида, чтобы избежать позора в связи со скотоложством.

[30] Опять же: максима капитана Арнаутова, наставляющего Федотова, тоже говорит о самоограничении и самоотречении: «Все пройдет, и мы пройдем, а Россия останется». Да, советской России, за которую воевал Федотов, к концу его жизни не осталось, но ведь не осталось и старой имперской России, за которую когда-то воевал Арнаутов, и это не помешало ему исправно служить России советской. А вот Федотову, похоже, что-то помешало принять постсоветскую реальность. Он посчитал, что Россия окончательно рухнула, снял тем самым арнаутовский психологический оберег, и берлинский синдром сразу подсел к его постели.

выправки, словно показывает своим примером, что в «истинном золоте блеска нет». Подлинное величие достигается не вытяжкой по стойке «смирно» «до хруста в позвоночнике» (которая в итоге не спасает Федотова от фундаментальных потрясений вроде отправки на Чукотку) и не участием в Параде Победы. Сильные же страсти, яростные порывы только вызывают бесцельное шатание маятника и все дальше уводят от истины.

Здесь интересно остановиться на использовании Богомоловым говорящих фамилий, которые могут дополнительно указывать на нужную интерпретацию.

Вполне возможно, дяшка Федотова потому и Круподеров, что он, точно ломовой конь, дерет себе круп во славу бытия и Мары. А, учитывая, что круп – это задняя часть лошади, можно даже предположить, что эта фамилия – тонкий намек на «Жоподеров». И все это насилие над задней частью в итоге оказывается погоней за ветром, ведь итог блестящей чекистской карьеры дяшки трагичен.

Фамилия же майора Елагина, помогающего Федотову в труднейший момент жизни, не обеспечивая никакой явной переклички с рассказом «Дело корнета Елагина», может являться лишним намеком на то, как Бунин важен для понимания богомоловского романа, ведь корнет Елагин – это яркий пример жертвы разрушительных страстей[31].

Mea maxima culpa

Наряду с эпиграфом к первой части ЖМ, не меньшее внимание обращает на себя и непосредственный финал романа – открываясь словами из старейшего буддийского трактата, книга завершается знаменитой католической формулой покаяния – «Моя вина! Моя вина!! Моя огромная вина!!!». В этом случае опять же сложно говорить, насколько собственно католическая коннотация была важна для Богомолова, но, случайно или нет, mea culpa в последнем предложении становится блестящей кодой для романа фактически о колесе Фортуны (в судьбе не только Федотова, но и того же дяшки) – еще одном важнейшем культурном символе западного Средневековья.

Интригой ЖМ Богомолов в плане работ называл вмешательство непредвиденных разрушительных обстоятельств в жизнь Федотова и его друзей, баловней судьбы[32]. Федотов говорит, что после войны «оказался в клетке, попав под колесо истории». А уж его реакция на страшное ЧП с отравлением солдат, с которого и начинается его движение по нисходящей, и вовсе словно сознательно вторит знаменитым горьким словам из Carmina Burana: «И вот в одночасье унижен и растоптан» - «Nunc a summo corrui gloria privatus!».

Впрочем, объяснение необходимости покаянной эксклamации в романе можно найти и за пределами религиозной сферы, причем оно оказывается не менее впечатляющим.

Как следует из текста, итоговое самобичевание состарившегося Федотова во многом вызвано осознанием вины за гибель старшего лейтенанта Павла Зайкова, познакомившегося в плену с немкой Эльзой Треншель, которая регулярно посещала лагерь военнопленных и по мере сил помогала советским солдатам и офицерам в беде. Постепенно между Павлом и Эльзой возникла симпатия, переросшая в любовь, и после войны Треншель добровольно отправилась за Зайковым уже в советский ПФЛ, где тот должен был быть проверен на благонадежность после плена и направлен на дальнейшую службу.

Зайков неоднократно обращался во все инстанции (включая Кремль) с просьбой разрешить брак с Эльзой и последующий переезд новой семьи в СССР с переходом Зайкова в гражданские. Администрация лагеря поначалу даже попробовала пойти навстречу (в том числе с некоторым нарушением инструкций), но затем, прислушавшись к аргументам контрразведки, стала перестраховываться. Апофеозом перестраховки стала отправка Эльзы (как впоследствии выяснится, ждавшей ребенка от Зайкова) из лагеря по месту жительства под надуманным предлогом скорой встречи с Павлом. В обмане Треншель без умысла

[31] Тогда как майор, снова на символическом контрасте, - очень рациональный человек.

[32] Р. Глушко. От составителя//«Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»: роман в документах. М.: Книжный клуб 36.6, 2013, с. 7.

принял участие и Федотов, получивший такой приказ от начальника учетного отдела лагеря майора Гаврилова.

Развязка наступила, когда Зайков, не выдержав разлуки, покончил с собой, а официальные лица лагеря затем узнали, что Эльза была ценным сотрудником ГРУ и должна была получить максимальное содействие в стремлении посетить Советский Союз.

В отличие от судьбы Лисенкова, в свое время спасшего Федотова и тоже погибшего отчасти по его вине[33], трагедия Зайкова и Треншель, которым главный герой, хотя и симпатизировал, но не был ничем обязан и с которыми не имел такой мощной эмоциональной связи, как с Лисенковым, Володей или Мишутой, почему-то начинает особенно сильно тревожить повествователя. Причина этого, возможно, кроется в том, что Зайков тоже отчасти является двойником Федотова, на что его перечисленные выше боевые товарищи претендовать не могут.

Принципиальный маркер здесь – декламация Павлом стихов Есенина, которого в переписке с другом Лешей Федотов называет одним из своих любимых авторов. Погибший Зайков был определенно созвучен Федотову, был с ним на одной волне или, выражаясь словами Розенбаума, был «одной струны с ним».

Кроме того, когда Федотов их случайно подслушал, Зайков признавался в любви к Эльзе стихами Есенина, словно отождествляя себя чтением этих стихов с есенинским лирическим героем – хулиганом - и одновременно устанавливая символическую перекличку с названием романа, взятым из Есенина. А вскоре после этого, узнав о разлуке с Треншель, он повесился, уже как сам Есенин.

В какой-то степени получается, что Федотов сопричастен гибели этого Есенина. Он словно ритуально убивает Есенина и одновременно – своего двойника (т.е. в какой-то степени убивает себя), что еще больше усугубляет его ситуацию и дает еще больше поводов для самоедства. А ведь Есенин – это еще и почти ровесник главных героев, и потому особенно им близок во всех смыслах.

А еще Зайков, в отличие от Федотова, нашел истинную любовь. Да, Эльза была некрасивой (Федотову-то хотелось статусную девушку, чтобы не стыдно было вывести в свет), но там было высокое, искреннее чувство (этого Федотову тоже хотелось – той самой «черемухи», т.е. романтики, отношения без которой его учитель, престарелый гусар капитан Арнаутов, полагал не любовью, а физиологией, «случкой»).

Кстати, в ретроспективе «Зося» - похоже, пример того, как *это* должно выглядеть с «черемухой». Опять же – на вину Федотова нам заочно указывает, что Зосе, как и Треншель, тоже нравился Есенин, причем интуитивно, даже без знания языка, и посягнуть на такое – воистину святотатство[34].

Возможно, на старости лет Федотов понял, что такое чувство (а Треншель, как декабристка, была готова поехать за Зайковым куда угодно, - настоящая жена для гусара) не привело бы к оскотиниванию на гражданке, которого он так боялся, читая письма от матери и сестры, и дети от такой жены не привели бы к превращению его в «штафирку». Больше того – Эльза же была еще и сотрудницей ГРУ, так что с дисциплиной точно было бы «аллес нормалес», как любит говаривать Федотов. С такой супругой мог бы оказаться не страшен и злополучный берлинский синдром.

Есть все основания считать, что эта любовь переборола бы все – она ведь выжила сначала в немецком концлагере, а затем в советском ПФЛ. Она не победила только колесо Фортуны (колесо истории по Богомолову) в лице советского военно-бюрократического молоха.

[33] Отравился спиртом в ходе пьянки, которую Федотов не пресек, поскольку в это время отсутствовал в расположении части.

[34] Зося приняла чтение главным героем Есенина вслух за молитву.

Федотов оказался косвенно причастен к убийству этой идеальной любви. Он внес свой вклад в разрушение судеб сразу трех человек (Павла, Эльзы и их будущего ребенка), и снова всплывающая цифра «три» отсылает нас к цифровой символике Богомолова.

«Три» - это и личное счастье из «Первой любви», способное заслонить собой войну («И нас было трое»), и идеальная боевая единица, в которой, как у хербертовских сардакаров, никто не окажется спиной к противнику (это и МИ, и ЖМ, где Федотов может опереться на Володю и Мишуту, и «Иван», где после гибели Катасонова непременно нужно кем-то восполнить тройку, иначе переправа может провалиться)[35].

Погубить такое – значит, допустить катастрофу страшнее, чем личное падение после злосчастного ЧП. Погубить такое – значит, нанести мощнейший удар по собственной карме.

Опять же – погублена семья, т.е., пусть даже Зайков – не фронтовик, а Эльза не ждала его в тылу, Федотов в какой-то степени совершает нечто в духе бюрократов, губивших семьи военнослужащих в тылу. Эльза – агент ГРУ. Если бы ее вывоз состоялся по плану командования, она бы могла стать не учительницей или еще кем, как предлагал Зайков, а, например, инструктором (хотя бы по немецкому языку) и еще пригодиться в качестве разведчика. Получается, что Федотов тоже как бы соучаствовал в диверсии против своего, пусть и неосознанно.

Одновременно это означает, что Федотов стал соответствовать всем пунктам покаянной формулы. Он согрешил в мыслях (Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione), так как усомнился в изначально симпатичной ему Эльзе, когда *создатель истины* – подполковник Полозов из контрразведки – все ему разъяснил насчет того, что немка может специально проникнуть в СССР с целью покушения на Сталина. Он согрешил словом (verbo), ибо солгал Треншель насчет причины ее отъезда. Он согрешил делом (opere), поскольку лично участвовал в ее высылке из лагеря. Он недосмотрел за Зайковым и в целом упустил возможность предотвратить трагедию трех человек, а значит, - согрешил и через упущение (et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa).

Наконец, к старости он по разным причинам еще и впал в смертный грех отчаяния. Есть от чего каяться и бить себя в грудь.

Объективности ради здесь стоит отметить, что в самом начале пятидесятых Эльза вполне могла сгинуть уже в связи с поднимавшейся волной репрессий против всех мало-мальски подозрительных, которая накрыла куда как более значительных и заслуженных деятелей – например, маршала Худякова, генерал-полковника Гордова, генерал-майора Эйтингона и многих других. Но эта вероятность не отменяет того обстоятельства, что Федотов все равно мог купить Треншель и Павлу немало лет счастья перед тем, как на них бы снова обрушилось колесо Фортуны.

Если до конца выдерживать бунинскую буддистскую интерпретацию, то идеальная любовь советского военнопленного и работающей на ГРУ немки, обернувшаяся трагедией для обоих, - это, несомненно, ловушка Мары, сильнейшая привязанность, ведущая к страданию. Но, как видно из текста, Богомолов, обозначив некоторые возможные пути трактовки описанных им событий, ни одному из них не подчиняет авторский замысел.

Нарратив Богомолова, в отличие от того же бунинского с его отчетливой буддистской доминантой, остается в гораздо большей степени открытым для интерпретации и продолжает поставлять материал для интенсивного интеллектуального поиска.

[35] В МИ вообще три части и 99 глав, что опять же кратно трем. Нет полновесной тройки разве что в «Зосе», зато там наличествует как бы анти-тройка, отсутствующая в других текстах Богомолова: любовный треугольник.